

Андрей

Тавров



Бестиарий

Андрей Тавров

Бестиарий

НП «Центр современной литературы»

Тавров А.

Бестиарий / А. Тавров — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-100-3

Предлагаем вашему вниманию книгу под названием "Бестиарий". Автор - Андрей Тавров - поэт, прозаик, журналист, редактор поэтической серии издательского проекта "Русский Гулливер", а также главный редактор журнала "Гвидеон".

ISBN 978-5-91627-100-3

© Тавров А.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Соловей | 8 |
| Сизые голуби | 11 |
| Голубь | 14 |
| Единорог | 16 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 18 |

Андрей Тавров Бестиарий

Соловей

Соловей есть соль земли, смода ока. Есть безумная птица для неосторожного. Он — растопыренное как речей существо, что тарасится на город и лес, как рак или рыбий маз, пока его не выварят окесам. Он как веха, раскинутая по постанью или взрыв в метро, потому что не видит самог домос и покровишка-нигилики, зато видит — шров, дом, берущих людей и переломанные вместе с прыжками и минимизации ноги. И закармливая люди, в нем внутренне утас, которая теперь от востела их как тинича и одиночество мурсы — рас-белается по сомнамбулической вазе искривленного пространства. После взрыва и фыва — всегда только дается животное мурья. И еще когда кто-то думает — только она думает. Но самого сейчас не видно. И, если считать — не интересна нам домос, всему привычна, но интереснее митоз ирзание мурья, вон тротила и

белом в зину. Это называют мок.
Мок — название веретя прищипу
тоу, что есть, посредине неведущих
и замарованность своим терновым
вечном, внезапно выросшим из
хвоста, откуда еще ничего не росло.

Так он поет. Разбрасывая камни
бездумно и невесело, как курица
искусственный раствор.....



Соловей



Соловей есть соль земли, слюда ока. Есть безумная птица ума неотмирного. Он – растопыренное, как репей, существо, что тарашится на город и лес, как рак или рыбий глаз, пока его не выварили океаны. Он как вещи, раскиданные по гостинице или взрыв в метро, потому что не видать там самой бомбы и подрывника-невидимки, зато видать – кровь, дым, бегущих людей и переломанные вместе с тряпками и мышцами ноги. И зачарованные люди, в песне внутреннего ужаса, которая теперь охватила их, как тишина и одиночество чувства – разбегаются по сомнамбулической вязи искривленного пространства. После взрыва и увечья – всегда долго длится животная музыка. И еще когда кто-то умирает – долго она длится. Но самого центра не видно. И, ежели сознаться – не интересна нам бомба, всему причина, но интересен гипноз прозрения музыки, вонь тротила и беготня в дыму. Это называют шок. Шок – нежелание видеть причину того, что есть, рождение невидимки и зачарованность своим терновым кустом, внезапно выросшим из живота, откуда еще ничего не росло.

Так он поет. Разбрасывая комки безумия и невесомости, как жидкий цементный раствор, что ляпается на стенку, прежде чем к нему прилипнет смальта цветного вещества. И он скрежещет и хрипит, двигатель вечный крови и кровооборота, шуршит и цокает. Диплодок, ископаемое, он живет с ящерами и каменными плитами, с говорящими известняками дна. Кошмарна древность его, неотмирный ангельский плач, тоненький скулеж, восторженный стон. Вот бьется, цокая, меж столом и ракеткой целлулоидный мячик, все нестерпимей агонизируя, пока не замрет. Вот темная цикада трещит, вот трется о натянутый целлофан шип репейника, гулко отдаваясь в голове, вот сволочь какая-то обмирает и ломится. Но все это уже после взрыва, а сам он – кусок камня. Камень, антрацит, тишина. В камне больше глаз, чем в аргусе, и глу-

бины в нем больше, чем в цветке или колонне. Потому что это камень, булыжник, ничто. Все сжатые кулаки ищут камень-соловья. Но не могут найти, потому что бесстрастен, а не кровь по платформе, не скрип телеги, не вопль девочки с крылышком. Но ломоть того, вокруг чего нарастают ветви, кости, груди и волосы. Смешная тишина, смертельная тишь.

Нет в соловье человека. Как не ломись к нему, не найдешь – в лучшем случае камень, да и тот глубина.

Смерть приходит с кистенем, который та же пригоршня камня. Те же глаза. И когда ты лежишь – белый рядом с белой, или как землеройный снаряд, рыча и сокрушая землю одну белую на двоих, ищешь в ней самого себя, – все то же находишь – безлюдное еще, бесчеловечное, бездушное. Смерть тебе смертному, начало твое бессмертное находишь, пока громят барабаны землеройного ковша. Сфингу-соловья находишь, что наводит чуму и ужас одним лишь вопросом – кто-ты? А ты говоришь – жизнь, а ты говоришь – жизнь! Но не в тебе эта жизнь, а в соловье камне, что толкается из кроны ракиты, плещет, талдычит, молчит, как ведро с водой.

Нету у соловья имени. У расколдованного камня – какое имя. У смертника-террориста. Разве не говорит это исчезнувшее имя, что мир не нужен. Ни стаканы его фарфоровые, не плечи, ни деньги и дни с утра, ни бары с бабочками. Ни банки и древесина, ни чулки в угол зашвырнутые. Имя исчезнувшее – каменноугольная жуть родная, детский ужас в мокрых пеленках, заговоривший ковер с узорами, бабай-людоед в черном бархате. Нет имени – нет мира. Только силы остаются, безымянные. Столкнутся, зацепятся, слепят на миг что-то – скажем кузнечик, еще сцепятся, закрутятся винтом – скажем солнце, еще пересекутся, взвинтятся, скажем человек. А меж тем ничего нет, кроме твоей воли творить, каменной, словно камень, или рыхлой, как горсть намокшей разбухшей картонки.

Ходит он, убить грозит, вперевалячку, птица сволочная сирий, гриф закаленный, смерд горький. Вынет имя твое – рухнешь в гроб за спиной, всегда там раскрытый, рухнешь стоя, как бард безголовый. А вместе с именем кости уйдут, и Евридика уйдет, и Вика твоя, девка Дарья, и жилы уйдут. А за ними развернется тело твое, молодое, ношенное, восторженное – и потащится следом. Медленно уйдет, как чемодан по перрону.

И когда потеряешь все, поймешь, что бытие оправдано-непогрешимо бытием-камнем, лядащей птичкой, цветком и фонтаном. Если такое есть – значит, само оно – скважина для ключа, откуда бьет луч словно лампочки и говорит тебе – да. Говорит да всей ненужной жизни и пустякам в духах, слизи, помаде. Да – тебе, тебе безымянному, тут же рожденному, червю, совком перерезанному, серафиму огненному. Каждой твоей ночи, каждой юбке с узором, подъезду с бутылкой, кашенке, пляжу, плевку да любви неугасимой, несмертной, белой. Да. И еще раз. Плечистое, как солнце, как тропа изгнания.

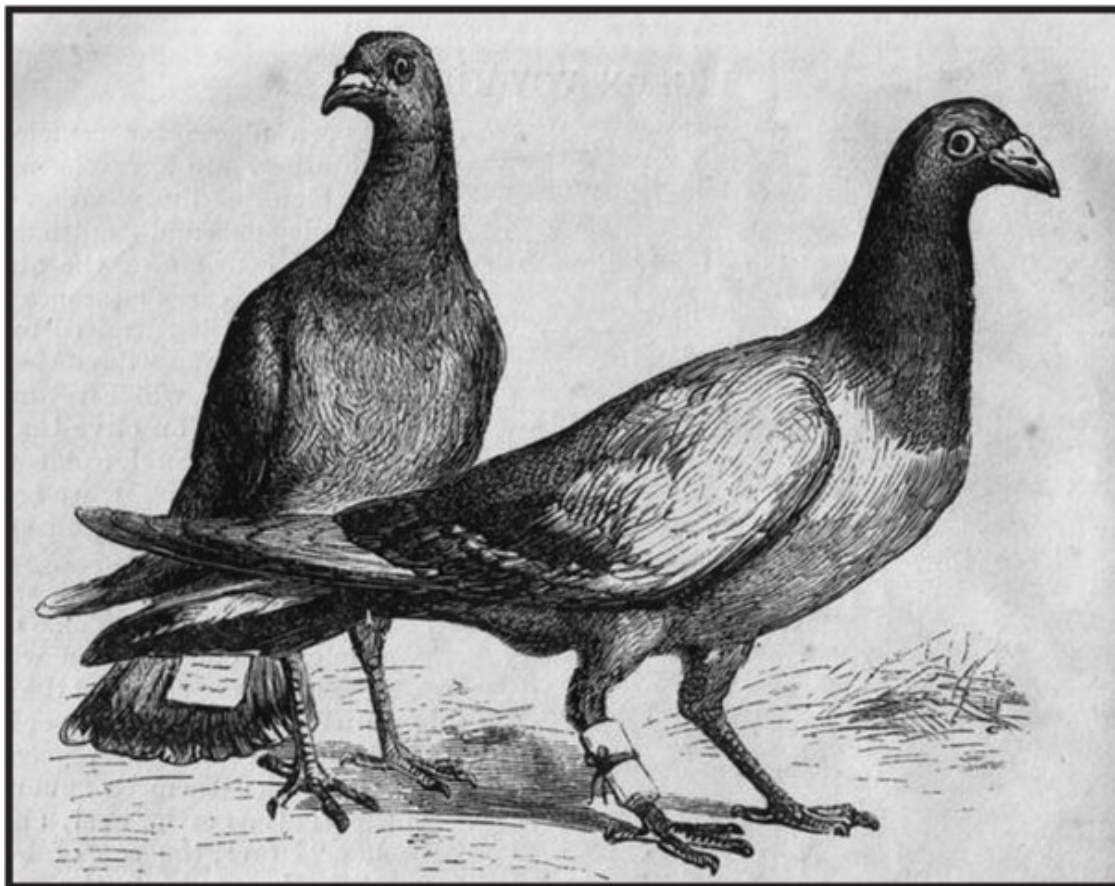
А помнишь – был мальчиком. И бросал камни в девочку с красным мячом. И змею под человеческим пометом с красными глазами. И машину эмку с раскаленным на солнце радиатором, и белый мост.

Но это только имена, а у соловья нет имени, как у белого тела любви и белого тела смерти, одного на двоих, одной на всех – нет имени.

Только камень – сплошной, непроглядный.



Сизые голуби



Когда поверх прозрачного занавеса перед глазами возникает еще один прозрачный занавес, а потом еще один – и так год за годом – то со временем появляется препона между тобой и всем, что бы ты ни видел или что бы с тобой ни происходило. Например, между тобой и Большим каналом с гондольерами или с катерами, или между тобой и чашкой кофе, а напротив – матовым женским лицом. Все, что было раньше, теперь уже само по себе быть не может, потому что все, что было раньше, один или два раза уже было, вот и образуется этот самый туманный занавес, и поэтому иногда становится очень страшно. То есть, вроде бы и бояться нечего – но становится так страшно, что иногда хочется кричать, а иногда не хочется, но все равно страшно – понимаешь, что то, что есть, теперь находится внутри того, что было – а это все равно что обнимать облако, а не любимую женщину.

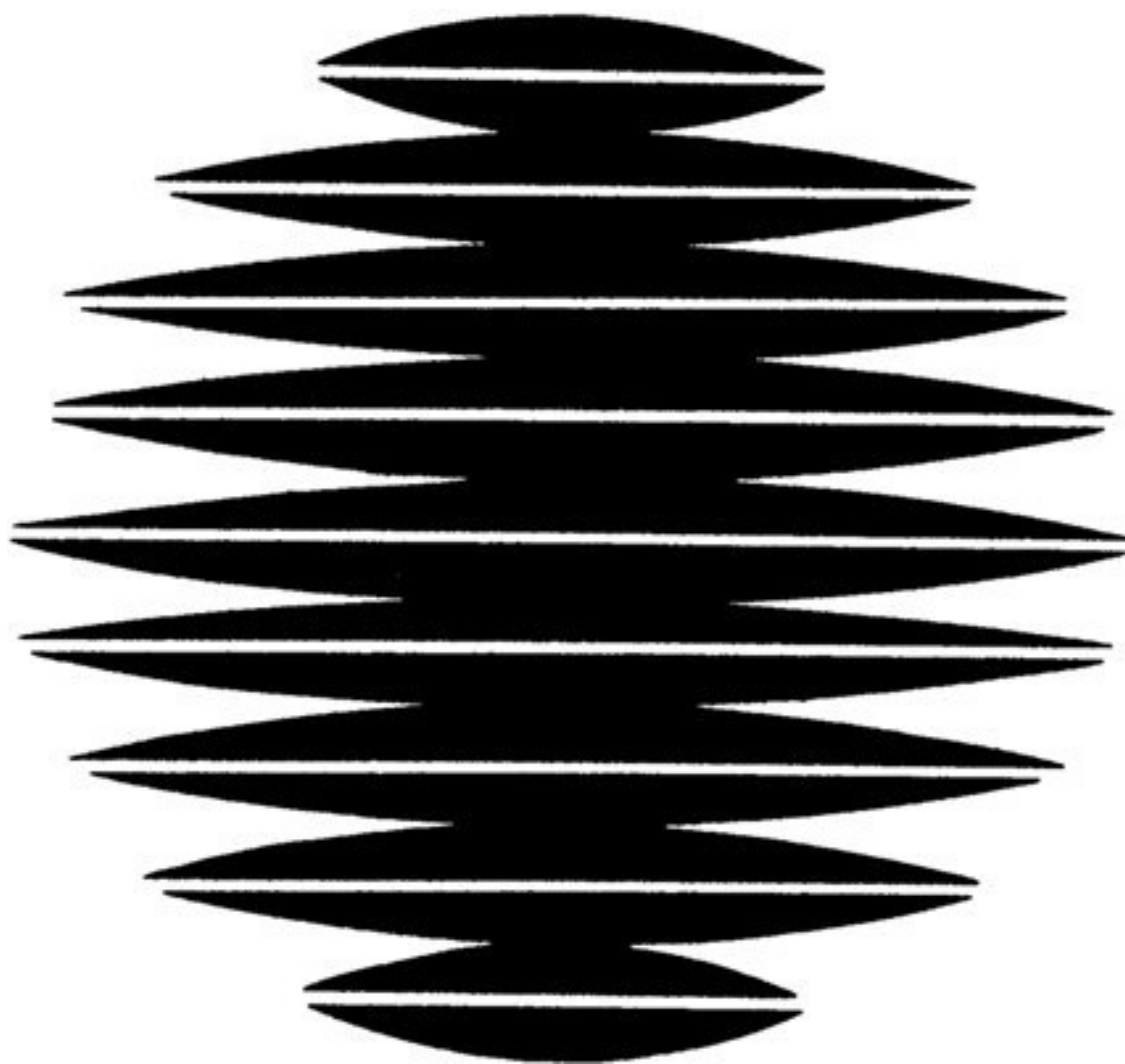
Самое непонятное, что со временем не хочется помнить ни определенные лица, ни определенные дороги, ни как снег летел впервые в жизни, когда толстые снежинки вращались, падая и поблескивая в фонарном свете над трамвайной линией, ни всего остального. Ты так всю жизнь тряса над тем, чтобы пережить главное, чтобы не пропустить, услышать, наконец, главное, так ждешь этого, а потом происходит, что тебе это уже все равно – одним обмылком на раковине больше, одним меньше – все равно непонятно, зачем надо мыть руки еще раз.

И вот стоишь на автовокзале во Владимире, снег сыплет без передышки, на асфальте лужи. Рождество. Сверху, в Успенском храме, звонят колокола, автобусы подъезжают и отъезжают, по громкоговорителю что-то говорит неразборчивый женский голос, люди становятся в очередь, а потом дверь закрывается и автобус уезжает в Муром или еще куда. И все это не то чтобы марево, но непонятно, зачем происходит.

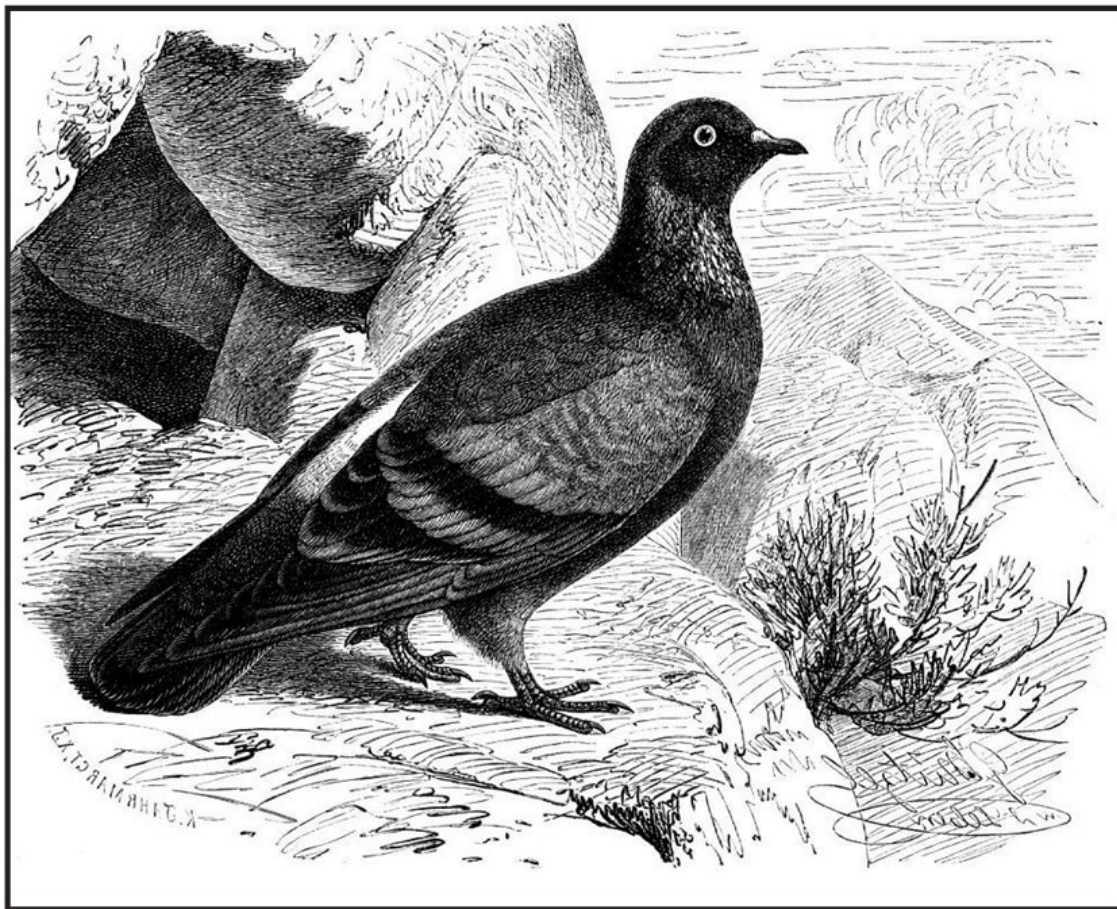
И тут под этим самым мокрым снегом замечаешь сизых голубей. Сизые голуби ходят рядом с ногами и становятся все плотней и достоверней – они словно все уплотняются, словно намекают на какую-то свою внутреннюю загадку, ходят туда и сюда и через несколько минут становятся плотными, как ядра. Становятся такими плотными и огромными, такими внутри сжатыми и снаружи округлыми – как те ядра, которые лежат рядом с Царь-пушкой в Кремле. Они ходят, и это самое главное, потому что недостоверный пейзаж с мелькающими снежинками, лужами и соборами наверху и со стеклянной дверью в кафе автовокзала больше тебя не тревожит, пока есть эти голуби. И то, что на тебе надето несколько пальто, и несколько автобусов едут в разные стороны, и ты сам вместе с ними похож на рыбий пузырь – полупрозрачный и легкий – уже ничего не значит. Они ходят, словно пожар Тамерлана, словно та фигура, которая мерещилась пальцам все детство, особенно перед сном, но так и не появилась, не прощупалась, не сложилась. Почти дающаяся, почти непререкаемая, сладкая и постыдная – все ускользала, сама в себя не свернулась, как эти вокзал, купола и холм вокруг тоже не свернулись, а сизые голуби все ходят и ищут чего-то на мокром асфальте.

И ты говоришь – вот! вот оно! – сам не зная, что говоришь, но убежденный, что тебе открылось такое про голубей и мир, чего раньше ты никак не понимал и оттого мучился про всю свою условную и призрачную жизнь, разросшуюся вокруг тела, словно огромный фантастический гриб – всеми этими городами, речками, улицами и людьми, и вот ты говоришь – вот же оно, вот! – но что оно и что вот, так и не можешь понять.

И так и стоишь и смотришь на похаживающих сизарей, а снег все сыплет и сыплет, мокрый и мелкий, и ничего не происходит. И ты стоишь теперь прозрачный, как стекло, с зажатой стеклянной фигурой в кулаке, которая постепенно увеличивается, и ты теперь только малая ее часть.



Голубь



Голубь – что-то среднее между профилем под вуалеткой и пощечиной. Я помню мамин профиль в шапочке, слегка запрокинутый бледный лик с накрашенными губами, дым вуалетки на пол-лица – фотография, которая долго стояла в крошечной комнатке на столике, покрытом клеенкой, где я вывел первые свои буквы пером №1, лиловыми чернилами. Меня эта фотография гипнотизировала и заставляла чувствовать свою малость и никчемность. Я не верил, что это мама.

Голубь говорит курлы-курлы, растет горлом, как чингиз-хан на горе трупов, ходит при этом, а если летит, то в одной руке у него медный шар, а во второй разорванная пополам волчица.

В южных городах много часовых мастерских. Еще там много парикмахерских и платанов. И там живут две сестры – Нана и Коринна. Коринна поит голубя из уст в уста, и он у нее похож на диванный валик, потому что все время скатывается в себя, круглится, а глаза красные, как пробитый арбуз. А Нана – сама голубь, Божья птица, сестричка беспечальница, мертвая да добрая. А не заглядывай голубю в глаза, да не смотри ему в рот – язык у него мускулистый, хлесткий, глянешь туда, лежать тебе, девка, не с мальчиком статным, а в земле – одной. И выходить оттуда лишь раз в двадцать лет.

Помню, как ты вышла, и речку помню со странным названием Бзугу, и фотографию твою из полароида, где ты сидишь на лавочке рядом со стеной Пер-Лашез. Потом мы шли в гору по асфальту между черных кипарисов из пемзы – я на твоих несравненных, а ты на моих натру-

женных и спотыкающихся. Боже, какие же фонари над нами горели, какие фарфоровые шары! Время впессовано в них, как снег в снежную бабу.

Потом берешь почтаря в ладони, а он тяжелый – не то что сизарь-тряпка, а сплошные мышцы. И выкидываешь его в воздух, и все кажется, что это ты сам у себя в ладони, и не надо тебе больше тут, на земле оставаться, потому что Нана уже ушла мучной тропкой по стеклянной дорожке, а поэтому иногда тут тебе лучше больше не быть без нее. Вот и кидаешь его в воздух, отрывая от земли, от времени, словно кожу снимаешь заживо – выталкиваешь вверх, в синее небо и разматываешься в какой-то постыдный предродовой узор, но на землю больше не упасть, нет, не упасть. Ящерица быстрее донесет письмо, чем голубь, но только голубь видит стеклянную тропу и слышит шелест Духа Святого.

Зачем тебе револьвер, если у тебя есть дым от выстрела – дрейфующий в ветре.



Единорог



Единорог есть Индиго-зверь, есть зверь Индрик, зверь синевы плеча. Обитает зверь этот на западе сердца, на склоне красном. Сила зверя велика вельми, и когда откроешь в себе его, берегись своей святости и чистоты. Потому что много святости и чистоты приводят в лес деревьев, в коих стволы – людские тела плача. И, странствуя и божась в деревьях синих души своей и тела своего, можешь от святости собственной сойти с ума и воплем изойти, осой стать, жалящей собственную мать в себе, святую свою Марию-Терезу, Зою-Александру, жизнь твою в формах и изгибах.

Как течет красный ручей по ушной раковине твоей, лепя ее и одушевляя, в чуткость и узнавание возводя, так приходит к ней напиться зверь твой индрик, и что ни глоток, то убывает звезд на небе и прибавляется тебе жизни на ложку. Мягко сей зверь, мягко, холмист, податлив.

Вся земля колеблется в нем податливо – червемь своим, челом своим, чернью своей ненаглядной, а ухо его землю ловит и землю есть, возводя ее в вечное ее девство, как в белое яблоко.

Охота на сего зверя известна давно. Самолеты, как псы, кружат по траве, рыча и выдыхая сполохи и струи огня и слабости, от которых колена охотников никнут и подгибаются, пока идет рог супротив ружья или взор зверя Индрика навстречь копы. И тогда извлекают деву свою из лопаток своих. Белую и украшенную. Каждый был ей мужем, и каждого матерью была эта дева, и никто не приходил к себе самому, не родившись от ее тишины и глотка тихого с песней и лона чистого, где родники бьют медом и кровью, где синева идет навстречу другой родной синеве Индрика-зверя, зверя лунного, Гавриилова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.